



**В. Г.
КОРОЛЕНКО**



Владимир Галактионович Короленко

СИМВОЛ

«Когда мы вошли, церковь была еще почти совершенно пуста. Молодой арестантик в чистеньком халате, в белых чистых подворотках, изящно обернутых ремешками, в вычищенных ваксой «котах», ходил у иконостаса, зажигая свечи. Каждый раз, когда он поворачивался к публике спиной, на ней сверкал новенький желтый туз и какие-то буквы...»

**Владимир Галактионович
Короленко
Символ**

[1]

– Не хотите ли пройти в церковь? – спросил у меня Зимин.

Со двора несся к нам надтреснутый звон колокола тюремной церкви. Была суббота. В мастерских кое-кто прекратил работу, но вообще не видно было, чтобы к вечерне собирались многие. Я пошел вместе с Зиминым и Кепарским.

Миновав несколько коридоров и поднявшись во второй этаж, Зимин отпер небольшую дверь на блоке, и мы вошли в какую-то конурку, заменявшую передний притвор. Церковь находилась в середине, в здании, соединявшем два корпуса; с двух сторон в нее входили из двух корпусов арестанты. Средний ход предоставлялся публике, входившей со двора в средние двери.

Из переднего отделения мы вошли в боковое отделение самого храма. Это было длинное, довольно высокое и просторное помещение, но оно разделялось сажеными темными перегородками на три части. По бокам, за решетками, стояли арестанты; они же помещались сзади на хорах; в среднем отделении

стояла остальная публика. Решетки доходили вплоть до соли и у ее ступеней заворачивались под углом решетчатой же дверцей. Таким образом, и здесь мы были с четырех сторон охвачены оградой...

Когда мы вошли, церковь была еще почти совершенно пуста. Молодой арестантик в чистеньком халате, в белых чистых подворотках, изящно обернутых ремешками, в вычищенных ваксой «котах», ходил у иконостаса, зажигая свечи. Каждый раз, когда он поворачивался к публике спиной, на ней сверкал новенький желтый туз и какие-то буквы.

По лицу это был еще очень молодой человек, почти мальчик. Он ходил, как-то слегка сторбившись, наклонив голову, как всегда ходят в церкви люди, обремененные наплывом благоговейных ощущений.

Ступал он тихо и каждый раз, установив свечку, истово и с расстановкой крестился. От Зимина я узнал, что это был тюремный поэт, с произведениями которого читатель уже отчасти знаком. Он был искренне набожен и в длиннейшем послании к некоторым девицам из арестанток (посланий, от которых я избав-

ляю читателя – хотя они и находятся у меня в руках) внушал им, что посылать секретно поцелуи и записки человеку, прислуживающему во время богослужения, – несогласно с правилами истинного благочестия.

Какой-то еще незнакомый мне арестант, с строгими чертами лица и с очками на глазах – ровным и «проникнутым голосом» читал псалтырь. Этот голос, звучавший размеренно и строго, без повышений и понижений, наполнял пустой храм, отдавался в углах над хорами и проникал в душу привычными с детства впечатлениями вечерней службы...

Последние лучи солнца проникали в окна золотыми полосками, в которых тихо колебались пыль и синеватая дымка от ладана. По временам чьи-нибудь шаги скрипели и смолкали, и опять в церкви стоял только ровный голос чтеца, да еще какой-то шорох, шепот чьей-то молитвы.

Я еще в первый раз был в тюремной церкви, да и вообще в церкви не был уже давно, и теперь на меня ее тишина и спокойствие и ровные звуки начинавшейся службы подействовали особенным образом. Опять, как в то

утро после моих снов, мое сознание двоилось и не могло слить в одно целое воспринимаемых ощущений. С одной стороны, в душу веяло привычным спокойствием. Вспоминались наша светлая гимназическая церковь и вечернее солнце, глядевшее, как и теперь, в ее окна косыми золотыми лучами, шелест каштанов в саду и тихое чириканье воробьев, собирающихся на покой в кустах сирени... И тихий мир, точно веяние невидимых крыльев ангела, касался разнеженной души короткими воспоминаниями детски-чистой и возвышенной веры...

Но тотчас же разнеженный взгляд падал на эти решетки кругом... Слух поражало тяжелое треньканье кандалов на хорах, и на одеждах людей, пришедших молиться, я видел клеймо позора. Когда же поэт-причетник открыл левую дверь иконостаса, – я увидел за алтарем в большом окне – распятие... Громадный крест над алтарем – и Распятый, казалось, простирал над небольшим храмом свои израненные руки. Вся фигура и эти раскрытые объятия ясно рисовались на фоне светлого еще неба, глядевшего в окно, но еще яснее

выступали из-за них... крепкие прутья железных решеток, вставленных в окна церкви-тюрьмы...

Это было первое напоминание, но... спасибо Распятому за эту горечь. Жизнь полна неисходных противоречий. Ее логика неумолима, она ведет от посылки к выводу, от вывода к другому, и так идут целые цепи выводов, стройных, последовательных и неразрывных, как железные звенья... Без тюрем не обходится ни одно общество. Тюрьмы надо запереть, иначе незачем было бы их строить. Церковь в тюрьме. Из нее можно убежать, как из всякого другого места, стало быть, нужно оградить и церковь... Здесь все так связно, все так поразительно, так неумолимо ясно, что ниоткуда вы не услышите возражения... «Реальная» жизнь не имеет аргументов против неумолимой цепи подобных посылок и заключений. Но вот эту цепь внезапно разрывает образ Распятого, поднимающийся высоко над нею. Он простирает свои израненные руки, и его черты глядят на логику фактов с неотвратимым укором: смотрите, люди, – меня, символ свободы, поместили вы рядом с

символом рабства, меня вы заключили за железные решетки, меня, разбившего цепи...

И этот укор обращен уже не к арестанту, не к чиновнику, не к офицеру или солдату, твердо знающим свою часть реальной аргументации. Он обращается к человеку, проникая в ту глубину сердца, которая живет вечными чувствами любви и правды, куда не достигает поверхностная логика необходимости минуты. И всякий, имеющий еще очи, видит страшное противоречие; всякий, имеющий уши, слышит неотвратимый укор... И ум, встревоженный глубоким движением души, начинает с сомнением пересматривать стройную цепь реальной необходимости: полно, так ли она стройна, нет ли тут где-нибудь роковой ошибки, которая приводит к таким страшным, таким трагическим противоречиям...

Никогда еще ни в одной церкви не испытывал я таких сильных, хотя и смешанных, впечатлений... Но это было только в первые минуты. Церковь понемногу наполнялась. Вот вошел смотритель в новом мундире и с каким-то наслаждением умиления стал кре-

ститься на иконы. Дружной, шуршащей толпой вошли арестантки и стали с левой стороны среднего отделения, у самой ограды (сторонняя публика стояла с правой). Они были в темных платьях, черные платки покрывали их головы; глаза их были потуплены, но из-под темных платков то и дело вырывались быстрые, жадные взгляды женщин, вышедших сюда из своих камер. Вот звякнули кольца завесы, отдернутой рукой священника, стихло ровное чтение арестанта, прозвучал первый возглас: «Во имя Отца и Сына...»

И мое обаяние было разрушено. Дьячок гнусил и торопился, священник возглашал громко, резко, торопливо, с очевидным желанием отделаться поскорей. И мне оба они показались только чиновниками, отправляющими привычную службу...

Примечания

Этот отрывок из рассказа «Содержащаяся» («Русские ведомости», 1886) не был пропущен царской цензурой.

[^^^]